

Мои
любимый
гений

Ванда
Захер-Мазох

Исповедь
моей
жизни

Как
подчинить
себе мужа

Рихард Крафт-Эбинг

**Как подчинить мужа.
Исповедь моей жизни**

«Алисторус»

УДК 821.112.2-31(436)

ББК 84(4Авс)-44

Крафт-Эбинг Р. ф.

Как подчинить мужа. Исповедь моей жизни / Р. ф. Крафт-Эбинг — «Алисторус»,

ISBN 978-5-906861-34-4

Кто такой Леопольд фон Захер-Мазох? Как ему удалось стать одним из самых популярных писателей века и дать имя целому виду патологий? Лучше всего об этом знает только один человек: его жена. Ванда Захер-Мазох, обладавшая огромным сексуальным и психологическим влиянием на писателя, без ложного стыда рассказывает в своей автобиографической книге историю их семейных отношений. Ее перо, словно хлыст, безжалостно и откровенно разоблачает тайны их интимной жизни. Дополнительные штрихи к образу «отца одной перверсии» дополняют психологический портрет Леопольда фон Захера-Мазоха, написаны величайшим психиатром XIX века Рихардом фон Крафт-Эбингом, а также автобиографические заметки самого писателя.

УДК 821.112.2-31(436)

ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-906861-34-4

© Крафт-Эбинг Р. ф.

© Алисторус

Содержание

Ванда фон Захер-Мазох	5
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Ванда Захер-Мазох

Как подчинить мужа. Исповедь моей жизни

Ванда фон Захер-Мазох

Исповедь моей жизни

Я родилась в Граце в 1845 году. Отец мой, Вильгельм Рюмелин, был военным агентом. За несколько месяцев до моего рождения моя мать принуждена была, вследствие падения, пролежать в кровати последнее время беременности и питаться только самым ограниченным количеством пищи, необходимой для поддержания жизни. Но так как она была здоровая и сильная женщина, то этот случай и ее режим нисколько не повлияли ни на нее, ни на меня. Я родилась необыкновенно маленькой и нежной, но не была ни болезненной, ни слабой, и всю мою жизнь, не отличаясь особенной силой, я всегда была здоровой.

Отец мой, происходивший из очень известной семьи в Штутгарте, пользовался протекцией принца Александра Вюртембергского, бывшего в то время военным губернатором в Граце; принц почти совершенно избавил его от обязанностей службы и превратил в личного управляющего своего дома.

Когда мне исполнилось два года, принц получил другое назначение и вместе со своей семьей покинул Грац. Это был настоящий удар для моего отца, так как он привык в продолжение многих лет к свободной и почти независимой жизни, ему не хотелось снова тянуть лямку, и он предпочел выйти в отставку.

Чтобы не оставаться праздным, он выхлопотал себе место в администрации южных железных дорог, которые в то время только что были построены, и был назначен начальником станции в Кранихсфельде, на линии Грац – Пуниет. Станция, расположенная на некотором расстоянии от деревни, стояла посреди громадного чудного леса, перерезанного железнодорожным путем.

В то время мне было только три года, дыхание смерти и отчаяние впервые слегка коснулись меня.

Это было летом, в спальне моих родителей; перед открытым настежь окном грозно высились мрачные деревья леса. Моя мать, сидя на кровати и держа меня на коленях, плакала, в то время как отец, стоя перед ней, как будто старался в чем-то убедить ее.

Вид слез на дорогом лице причинял мне невыразимое страдание; инстинктивно я чувствовала, что причиной их были слова отца, но мой детский мозг тщетно старался понять их смысл. Помню слова: «Не бойся, это не страшно; надо затопить печь, закрыть трубу, плотно запереть окна и двери, затем мы уснем и больше уже не проснемся».

Странно, что я никогда никому не рассказывала об этом случае, даже будучи взрослой, когда могла бы обратиться к моей матери за объяснением.

* * *

Живо помню себя в монастыре сестер в Граце в 1848 г., во время революции. Против монастыря, в строении, которое охранялось войском и целой батареей пушек, помещалась комиссия продовольствия войск. В монастыре царили страх и беспорядок. Окна и двери были забаррикадированы, и монахини старались при помощи усиленных молитв, песнопений и восковых свечей устранить нападение революционеров. Потом снова наступили мирные времена. В начале моего пребывания в монастыре тоска по матери стоила мне горьких слез, но со време-

нем образ ее несколько потускнел, и я начала привыкать к спокойствию монастырской жизни. Мне нравился обширный тихий монастырь и темные одежды монахинь, их бледные лица, их грустные улыбки и глаза, полные самоотречения.

Я любила нашу церковь с алтарем, украшенным цветами, звуки органа, пение сестер, иконы и тихие разговоры о Боге и ангелах. Воображение мое было всегда настроено на все сверхъестественное и высокое, и я чувствовала себя ближе к Небу, далеко от всякого зла. До сих пор любовь к матери всецело наполняла мое сердце, теперь же, лишенная ее общества, я вся предалась мечтам о Боге.

* * *

Мне было около восьми лет, когда я вернулась к родителям, которые в это время снова поселились в Граце, на Лиренгассе, в том же доме, где я родилась. Мой отец, отказавшись от места начальника станции, получил должность в Государственном контроле.

Тогда впервые я заметила, что мои родители не были счастливы в совместной жизни. Между ними часто происходили сцены, причем они обменивались резкими словами. Сердце мое сжималось от боли, и, не желая ничего видеть и слышать, я зарывала свою голову в подушки. Однажды я услышала, как моя мать угрожала уйти навсегда, и с тех пор страх, что она исполнит это, не покидал меня. Иногда эта мысль приходила мне в голову в классе среди урока, и я начинала рыдать так сильно, что учительница, думая, что я больна, отсылала меня домой. Я без передничка бежала домой, и если не находила там матери, то впадала в страшное отчаяние. В ожидании ее я проводила иногда целые часы перед домом, и самые мрачные картины не покидали моего воображения.

* * *

Каждое воскресенье отец водил меня на музыку в Шлоссберг. Тут я постоянно встречала молодую и изящную женщину, г-жу де К., своеобразная красота которой действовала на меня чарующе: она восхищала и вместе с тем болезненно нервировала меня. Иногда я старалась приблизиться к ней, чтобы дотронуться до ее шелкового платья дрожащими руками и вдыхать запах ее духов. Как далека я была тогда, любуясь ее прелестным личиком, от мысли, что судьба приведет меня на ту же самую дорогу, и я буду во власти той же таинственной силы, как и она! Много лет спустя, когда жизнь случайно столкнула меня с г-жей де К., я увидела два ее портрета; каждый из них был произведением большого художника, но оба совершенно не походили на воспоминания и впечатления моего детства. Один из них находился в музее красавиц художника Принцгофера, другой – в «Разведенной жене» Захер-Мазоха. Искусство художника, он сам признавался мне в этом, было не в состоянии передать чарующую прелесть этой женщины; писатель сумел вполне изобразить ее красоту, но представил ее в ложном свете.

* * *

Мне было двенадцать лет, когда со мной произошло странное и таинственное приключение, оставившее неизгладимое впечатление. Должна заметить, что я не была болезненным или рано развитым ребенком; развитие мое шло вполне нормально, и я спала всегда спокойным и глубоким сном.

Кровать моей матери была двойная, т. е. из нее по вечерам выдвигали нечто вроде ящика, на котором устраивалась для меня постель. Сзади нее было окно, выходившее в сад, а впереди

– дверь в соседнюю комнату. Стена, разделявшая комнаты, была очень толстой, и закрытая дверь образовывала нечто вроде ниши.

Однажды ночью я проснулась, но не так, как обыкновенно просыпаются после мирного сна в приятном полусознательном состоянии, которое исчезает только через несколько минут, а с совершенно ясным сознанием, как будто я совсем не засыпала. Какой-то таинственный толчок заставил меня поднять голову и открыть глаза. Я увидела стоящего в нише юношу необычайной красоты. Ниша была темная, но видение лучезарное и как будто само выделяло свет. На юноше была длинная белая одежда, открывавшая шею и руки. Он смотрел на меня своими голубыми глазами, глубоким и печальным взором, как бы желая сказать мне что-то грустное и вместе с тем радостное. И взгляд его не был мне чуждым, напротив, он казался мне привычным, точно я сама смотрела на себя.

Сначала я была точно очарована и не сразу поняла нею странность этого видения, потом я испугалась и закрыла глаза.

Мое сердце колотилось так сильно, что, мне кажется, я слышала его биение. Я переждала несколько минут и затем робко выглянула из-под одеяла. Видение не исчезало. Я снова закрыла глаза, и когда их открыла, видение все еще продолжало оставаться на месте; обезумев от страха, я разбудила мать и просила ее взять меня к себе в постель. Мать согласилась, и я, закрыв глаза, чтобы ничего не видеть, встала и скользнула к ней. Я спрятала голову под одеяло и старалась поскорее уснуть, но тщетно: любопытство мучило меня, и я снова взглянула. Видение не исчезало. Твердо решившись на этот раз не смотреть и дрожа от страха, я прижалась к матери, обняла ее и наконец смогла заснуть.

Проснувшись на другой день, я тотчас же вспомнила о видении, но ниша была по обыкновению пуста.

Я еще раз в жизни увидела то же видение, и притом вне дома и при дневном свете.

Дни, предшествовавшие первому причастию всего нашего класса, были для меня необыкновенно тягостными и тревожными, и если бы священник, дававший нам уроки Закона Божия, не был таким добрым и приветливым человеком и не обращался бы даже со мной, самой плохой его ученицей, чрезвычайно мягко, я чувствовала бы себя еще более несчастной.

Необыкновенное волнение охватило весь класс, и все мы ходили с перепуганными лицами. Мы совершенно перестали обращать внимание на уроки, и только один вопрос исповеди занимал нас. Считалось ли то или другое грехом? Целый день слышались вопросы на эту тему и тревожные неуверенные ответы.

Ученицы держали всегда под рукой заложенным в какую-нибудь книгу длинный листик бумаги, на котором помечали все грехи, приходившие им на память. Мы считали, что для того, чтобы получить полное отпущение, надо исповедаться решительно во всех грехах. Те из нас, у кого список был уже порядочно заполнен, торжественно махали им в воздухе, чтобы показать подругам, у которых он был еще не так длинен.

Я заметила, что ученицы, пользовавшиеся худшей репутацией в классе и которые, казалось, должны были наиболее тревожиться, чувствовали себя более спокойно и уверенно, чем остальные. Некоторые, беспрестанно повторяя десять заповедей, всячески старались достигнуть приличных результатов. Я сама принадлежала к числу этих несчастных. Не достигнув желанного результата с заповедями, я обращалась к изучению семи смертных грехов, но тоже без успеха. Все это мучило меня, и я с завистью смотрела на тех, кому доставалось это без особого труда. Одна из моих подруг, которой удалось составить очень почтенный список грехов, сжалилась надо мной и предложила воспользоваться ее листом. Мне оставалось только списать и прочесть их на исповеди.

Предложение это показалось мне очень остроумным, и я обрадовалась возможности положить конец тягостному состоянию. Но меня тотчас же стало мучить сомнение. А если Господь, который знает все, заметит этот обман? Как я буду ловко поймана! Кроме того, все

это казалось мне не вполне чистоплотным, точно подруга предложила мне воспользоваться ее грязным бельем. А между тем, я должна была идти на исповедь, следовательно, у меня должны быть грехи.

Наступил роковой день, я стояла в церкви, ожидая своей очереди с еще большей тревогой и волнением. Я наблюдала за ученицами, выходящими из исповедальни, и заметила, что в то время, как одни были сильно взволнованы, другие едва скрывали улыбку.

Наконец наступила моя очередь.

Я встала на колени, прочла молитву и умолкла. Наш священник, толстый францисканец, задыхавшийся от жиру, прождав с минуту и видя, что мое молчание продолжается, спросил меня: «Ну, в чем дело? Разве у тебя нет грехов? Хочешь, я помогу тебе? Может быть, ты...» И он начал предлагать мне вопросы, правда, очень умильным голосом, но в резких, неприкрытых выражениях и с полнейшим профессиональным безразличием. Я не слушала его, я только смотрела на его простое крестьянское лицо, красное и полное, которое он постоянно вытирал от пота бумажным синим платком, и негодовала на судьбу, которая послала мне такого некрасивого и простецкого представителя церкви. И когда он, тоже в прямых, резких выражениях, предложил мне вопросы по поводу шестой заповеди, которые я и не поняла даже вполне, я внутренне возмутилась и, продолжая упорно молчать, почувствовала, что никогда в жизни не пойду уже более к исповеди.

Но мои мучения еще не кончились. Надо было идти к причастию. У моей матери было обыкновение давать мне в случае нездоровья какой-то порошок, завернутый в облатку. Поэтому вкус облаток был мне до того противен, что даже мысль о них вызывала во мне тошноту. И потому, когда я, встав рано на рассвете, голодная, изнервничавшаяся и расстроенная исповедью, склонилась на колени перед алтарем и когда священник положил мне облатку на язык, я почувствовала дурноту и должна была призвать на помощь всю свою нравственную силу, чтобы успеть дойти до дверей церкви, закрыв рот платком, в котором лежала облатка. Я подозреваю, что все поняли, что я не проглотила ее. Но я так удачно избавилась от нее, что за неимением никаких доказательств, никто ничего не сказал мне.

С этого дня я вычеркнула из моей жизни раз навсегда всякую обрядность в религии.

* * *

Одно время на нашу долю выпала полоса богатства и величия.

Дворец принцев Вюртембергских, напротив которого мы жили, в продолжение многих лет был необитаем и наконец в один прекрасный день был продан графу Герберштейну. Принц оставил в Граце большую часть своей обстановки и множество различных вещей, которые теперь необходимо было вывезти из дворца. Принц дал знать моему отцу, что все находящееся во дворце он отдает в его пользу при условии очистить дворец в три дня. Это был роскошный подарок, так как продажа принесла отцу целое небольшое состояние, правда, привлекшее на нас новые беды. Желая сам заняться этой продажей, отец отказался от своей должности. Вероятно, деньги, прошедшие за это время через его руки, несколько повлияли на его рассудок, так как он, никогда не занимавшийся делами, пустился в спекуляции. Это должно было окончиться плохо, и так оно и случилось.

* * *

Мое отношение к отцу, всегда очень нежное и доверчивое, внезапно изменилось благодаря одному очень неприятному обстоятельству. Однажды, вернувшись из школы, я нашла дверь нашей квартиры запертой на ключ. Думая, что моя мать ушла куда-нибудь неподалеку и вернется вскоре, – моего отца в этот час никогда не бывало дома, – я уселась па лестнице

и стала ждать ее. Через некоторое время я услышала шаги в квартире, затем дверь отворилась, и из нее вышла потрепанная, вульгарная женщина самого низкого разряда. Хотя у меня было не совсем ясное представление о том, что произошло, тем не менее я поняла, что это было нечто низкое и грязное. Какое потрясение испытала я! Чувствовать, что узы, связывающие нас с любимыми существами, рушатся, – ужасно, в особенности, когда причиной разрыва являются не внешние обстоятельства, а полное несходство взглядов. Я страдала, как страдают только дети, которые не обладают ни надеждами юности, ни рассуждением зрелого возраста, способными дать успокоение и утешение.

Теперь я стала очень редко разговаривать с отцом. Я стыдилась его, и ему было неловко передо мной.

* * *

В пятнадцать лет я стала ходить в школу кройки и шитья, которую посещали молодые девушки лучших семейств города. В числе учениц находилась некая Анна фон Визер, которая всецело завладела вниманием учениц. Это происходило не оттого, что она была интересна сама по себе, но потому, что она и ее семья были близко знакомы с семейством дворянина Захер-Мазоха, бывшего тогда начальником полиции в Граце.

Сын Захер-Мазоха в то время только что написал роман, о котором очень много говорили. Все эти молодые девушки, конечно, читали его и интересовались молодым писателем. А так как м-ль ф. Визер была лично знакома с поэтом, то этим самым она приобретала громадное значение в наших глазах. Каждое утро, приходя в школу, она приносила нам кучу новостей о доме своих друзей, которые мы выслушивали с величайшим вниманием. От нее мы узнали, что молодой Захер-Мазох был помолвлен со своей кузиной, полькой замечательной красоты, и что любовь его к ней была необыкновенно возвышенной и чистой. В этом не было ничего удивительного, так как Захер-Мазох обладал не только умом и талантом, но отличался также удивительной добротой и благородством и был целомудрен и чист, как молодая девушка.

Что могло быть увлекательнее этой темы для целого класса молодых девушек? Новости, приносимые м-ль ф. Визер, были предлогом к самым оживленным разговорам, во время которых мои подруги излагали также и свои личные взгляды. Я была самая младшая, и, хотя я думаю, что и все остальные знали не больше, моего, тем не менее у них были на все свои определенные взгляды, которые они к тому же имели храбрость высказывать; в этом отношении я не была на должной высоте. Но если и мало говорила, это не мешало мне очень много думать. Все рассказы м-ль ф. Визер придали моим смутным понятиям о счастье и любви более определенную форму брака. Я завидовала невесте Захер-Мазоха, мечтала быть на ее месте, воображала себя женой писателя, в изящном доме, окруженной прелестными детьми, под защитой его глубокого и чистого чувства; словом, я представляла себе слишком высокое и благородное счастье, чтобы возможно было профанировать его словами.

Однажды я проходила вместе с м-ль ф. Визер по Хейнауассе, мимо дома, в котором жил начальник полиции. Моя подруга вдруг остановилась, потянула меня за руку и, вся взволнованная, сказала, указывая мне на парочку, шедшую впереди: «Захер-Мазох и его невеста».

Это меня тоже взволновало. Мы последовали за ними, и я старалась получше разглядеть эту интересную пару.

Весь в черном, тонкий, с бледным лицом, лишенным растительности, с острым профилем, который я рассмотрела, когда он поворачивался к своей невесте, Захер-Мазох произвел на меня впечатление молодого богослова. Фигура невесты – единственное, о чем я могла судить, – показалась мне лишенной изящества.

Странно, что эта встреча оставила во мне впечатление какого-то сожаления, как будто действительность, коснувшись моей мечты о счастье и любви, омрачила всю ее лучезарность.

* * *

Спустя несколько месяцев я принуждена была покинуть школу кройки. Родители мои совершенно обеднели и не в состоянии были что-либо тратить на мое образование. Отец стал проводить все дни и отчасти ночи в кафе, за бильярдом, в то время как мать всячески старалась заработать на самое необходимое, отдавая комнаты внаймы.

Я тоже пыталась заработать немного денег вышивками, но это было так мало! Я чувствовала себя подавленной, потому что не могла оказать более действенной помощи моей бедной матери.

Вскоре дела приняли еще более дурной оборот.

В один прекрасный день отец продал всю нашу обстановку. Нам пришлось спать на полу, а опрокинутый ящик служил нам вместо стола. Когда отец истратил все деньги, вырученные от этой продажи, он объявил нам, что хочет вернуться в Штутгарт к богатым родным и что он отправится туда пешком. Он уложил немного белья в старый чемодан и покинул нас, даже не простившись.

Я следила за ним, когда он уходил; я видела, как он шел вдоль улицы с палкой, протодетой в чемодан, видела его сгорбленную фигуру, его неуверенную походку, и мне казалось, что сердце мое разорвется от боли. Я взглянула на мать и не могла понять, как она могла отпустить его с таким спокойствием, почти равнодушием.

Больше я его никогда не видела.

* * *

Мы наняли небольшую комнатку в недорогом квартале, там, где нищета живет бок о бок с преступлением и пороком.

Мы продали и перезаложили всю нашу одежду и белье – до самого необходимого включительно – и страдали от голода.

Мать относилась к нашему положению не как к несчастью, а как к позору. Вместо того, чтобы обратиться к нашим многочисленным знакомым за советом и помощью, она пряталась и тщательно избегала их.

Мы были близки к голодной смерти, когда моей матери пришла мысль заняться шитьем солдатского белья. Так как такого рода работу достать очень легко, го вскоре мы сидели за ней с утра до вечера, счастливые, если в конце недели могли заработать два флорина восемьдесят крейцеров.

Однажды ночью мою мать разбудили стоны, шедшие из соседней комнаты, в которой с некоторого времени поселилась молодая женщина с ребенком. Так как стоны не умолкали, мать встала и пошла посмотреть, в чем дело. Она застала соседку, корчившуюся в судорогах. Мать напоила ее чаем, укутала в теплые одеяла и вскоре с радостью увидела, что больная успокоилась и мирно заснула.

Из благодарности за оказанную ей помощь наша соседка предложила научить меня шитью перчаток) то ремесло, которым она сама занималась, приносило гораздо больше, чем шитье солдатского белья. Она также взялась представить меня на фабрику, где работала сама и где я могла иметь заработок в продолжение целого года.

Я с удовольствием приняла ее предложение, тем более, что тонкая работа производства перчаток гораздо более улыбалась мне, чем грубое шитье, которым я до сих пор занималась.

Теперь я стала зарабатывать 60 крейцеров в день, и так как моя мать продолжала шить белье, то мы были почти богаты.

Вскоре после того мы покинули грязный квартал, в котором жили, и взяли маленькую квартирку во дворе одного большого, почти красивого дома, в котором помещались также булочная и бакалейная торговля. Так как шить перчатки невозможно при свете лампы, а мне не хотелось оставаться праздно весь вечер, то я стала подыскивать заказы на вязальные работы среди многочисленных обитателей дома, что мне и удалось вполне при помощи консьержки. Все жильцы этого дома относились ко мне очень доброжелательно и начали давать мне книги и газеты для прочтения; таким образом, так как я могла свободно вязать, почти не глядя на работу, я провела много прекрасных часов за книгой, работая при свете лампы.

Мое новое занятие имело и неприятную сторону: оно заставляло меня выходить из дому раз в неделю, чтобы относить оконченную работу и забирать новую. А это в свою очередь влекло за собой некоторые издержки, так как мне необходимо было сделать себе платье для выхода, и кроме того страшно стесняло меня, так как я совершенно отвыкла от общества людей и боялась проходить по очень шумным улицам – это пугало и расстраивало меня.

Мы жили уже около года в этом доме, когда началась очень ранняя и суровая зима. У меня не было ни башмаков, ни теплого платья. Будучи в такой крайности, я отыскала пару белых атласных башмаков, оставшихся у меня от прежних времен, замазала их чернилами и надевала, когда приходилось выходить из дому. Мне казалось, что я иду босая по мостовой. Вскоре я простудилась и заболела очень тяжелой болезнью желудка. Так как я не могла лечиться, а должна была выходить и работать, мое состояние, конечно, ухудшилось. Мне тем более было трудно беречь себя, что военная администрация перестала давать шитье на дом, и моя мать уже несколько месяцев сидела без работы.

Тяжелые времена наступили для нас. Всякое утро я вставала и принималась за работу, но сильные боли заставляли меня бросать ее. Я могла принимать только жидкую пищу и с каждым днем слабела все больше и больше. Все, что имело хоть какую-нибудь ценность, в том числе и мое единственное платье, было заложено или продано. Соседняя торговка овощами в продолжение нескольких недель отпускала нам в кредит картофель, сперва на два крейцера в день, потом на один и наконец совсем отказалась. Молочница оказалась менее жестокой. Это была бедная крестьянка, которой приходилось каждое утро проходить пешком несколько верст, чтобы добраться до города, неся тяжелые кувшины на голове. Когда мы уже не были в состоянии платить ей, она ничего не сказала нам, но, по-прежнему добрая и ласковая, продолжала доставлять нам молоко. Если бы не доброта этой крестьянки, меня, наверное, не было бы в живых, так как молоко было и то время моей единственной пищей. Доктор и аптекарь оказались тоже очень гуманными.

* * *

Моя мать, которая была очень полной, в несколько педель исхудала в высшей степени. Голод мучил ее день и ночь. Чтобы заглушить его, она пела псалмы или читала потрепанный молитвенник. От голода у нее сделалась лихорадка, и иногда ночью, когда мне было лучше, она садилась возле моей кровати, и я видела, как пот прямо лил по ее дрожавшему телу; мы молча смотрели тогда друг на друга и плакали. Когда голод становился невыносимым, она вставала ночью, когда весь дом мирно спал, тихонько пробиралась во двор и рылась в сорном ящике в надежде найти куски черствого хлеба, выброшенные прислугой или пекарями. Она очищала, размачивала в воде и с жадностью глотала их. А когда запах горячего хлеба поднимался по всему дому, она становилась возле дверей нашей комнаты и с наслаждением вдыхала его. В базарные дни она отправлялась в полдень на площадь и собирала там среди отбросов капустные листья и морковь, которые тут же съедала сырыми.

* * *

Наступило Рождество. Накануне его я в первый раз услышала со стороны матери жалобу: мысль провести праздники голодными заставляла ее проливать слезы. Я собрала все свои силы и всю энергию, встала и уселась за работу, чтобы сшить хоть одну пару перчаток и достать ей хлеба. Пока я работала, укутанная в одеяло, с подушками за спиной, она вышла, как часто делала, чтобы насладиться зрелищем магазинных выставок.

Когда она вернулась, то нашла меня лежавшей на полу в обмороке.

Уже несколько месяцев мы были лишены освещения, но никогда мрак не казался мне таким тягостным, как в этот рождественский вечер.

Тишина этих долгих и мрачных часов была внезапно прервана звонком, раздавшимся у наших дверей. Это пришла г-жа Z, жена бакалейного торговца в нашем доме, и принесла с собой большую корзину с провизией. Несколько смущенная, она просила мою мать принять от нее рождественский подарок; она объяснила нам, что уже давно замечала наше несчастье и хотела прийти на помощь, но боялась обидеть нас; наконец в этот день, увидя из окна кухни, как я больная и обессиленная пытаюсь все-таки работать и как это окончательно разбило меня, она решила не медлить больше и воспользоваться праздником, чтобы прийти нам на помощь. Г-жа Z не ограничилась этим, она принесла нам угля, дров, масла и вина для меня. Рождественские праздники мы провели так, как уже давно не проводили их. И так как я, вероятно, главным образом страдала от недостатка питания, то теперь скоро поправилась и принялась за работу. Мать после праздников тоже нашла работу, и жизнь наша снова пошла своим обычным путем.

* * *

Прошло несколько лет.

Я читала очень много. Чтение заменяло мне теперь мечты, оно уносило меня от обыденной жизни.

Мне было двадцать шесть лет, когда я познакомилась с одной женщиной, которая была первой причиной внезапного переворота в моей жизни.

Г-жа Фришауер – так звали эту женщину – была дочерью одного известного раввина. Я должна сказать, что знаю о ней только то, что она сама рассказывала мне о себе. Она не жила с мужем; сначала он был владельцем фарфоровой фабрики в Брюнне, потом, когда его постигли неудачи, он уехал в Вену в надежде (нова как-нибудь устроиться. По ее словам, богатая родня взяла на себя обязанность содержать ее и детей. У нее было трое сыновей, из которых старший, Бертольд, и младший, Отто, жили с нею, а средний миль, учился в Риме.

Видно было, что когда-то она была очень хороша, по теперь она была совсем бесформенной, держалась уж очень небрежно, и походка ее была лишена всякой грации. Но сама она еще воображала себя красивой, мои было заметно по ее поведению. Она была очень и известна в городе, вероятно, благодаря своим кричащим и очень поношенным туалетам. У нее был очень живой ум, и когда она что-нибудь доказывала, то располагала неистощимым запасом слов. Она была большим скептиком, смеялась надо всем, ничего не уважала и не верила ни во что, кроме себя: в силу своего ума и красоты.

Мне она представлялась женщиной очень умной, но лишенной всякого здравого смысла. Вскоре не проходило и дня, чтобы г-жа Фришауер не посетила нас; я встречала ее всегда с удовольствием, так как она приносила мне множество книг и журналов. С нею вместе врывался в тишину моей комнаты поток шумной и деятельной жизни, так как она все читала, все видела, все слыхала, знала все и всех, говорила обо всем и обо всех, притом всегда в своей обычной насмешливой, но забавной манере.

С самого начала нашего знакомства я заметила, что г-жа Фришауер особенно интересовалась католической религией и постоянно предлагала мне вопросы на эту тему.

В то время я видела в этом только любознательность еврейки относительно чуждой ей религии, и только гораздо позже я узнала, что ее сын Эмиль, которого его «занятия» удерживали в Риме, как раз тогда готовился перейти в католичество. Однажды я рассказала ей историю моей первой исповеди. Она выслушала меня внимательно и снова стала спрашивать обо всей обрядности этого таинства. Когда я все подробно объяснила, она заявила, что хочет доставить себе тоже удовольствие пойти на исповедь, чтобы рассказать священнику такие вещи, которые тоже вогнали бы его в пот, только несколько иначе, чем моего францисканца. Так как подобного рода шутка могла иметь очень неприятные последствия, в особенности для женщины с таким резко выраженным семитическим типом, я сочла своим долгом предупредить ее, но это только еще больше раззадорило ее. В продолжение целой недели она повторяла молитвы, которые читаются на исповеди, и обегала все церкви, чтобы выбрать себе духовника.

Выбор ее пал на совершенно молодого и очень красивого францисканца, которого только что назначили священником.

Тотчас же после исповеди она пришла прямо к нам, страшно веселая, и подробно рассказала мне, как все произошло. Больше всего ее радовало то, что священник отказал ей в отпущении грехов и предложил вскоре еще раз вернуться на исповедь. Я приложила все усилия, чтобы уговорить ее не идти к причастию к довершению всего. Видя, что она так злоупотребляет моей доверчивостью, я старалась с тех пор избегать с ней разговоров о религии.

Однажды г-жа Фришауер принесла мне книгу, которую особенно рекомендовала прочесть. Это было «Наследие Каина» Захер-Мазоха.

Из газет я уже знала, что с той поры, когда мы так восхищались им в школе, он сделал карьеру и стал знаменитостью. До сих пор я не читала ни одной его книги, и мне доставило громадное удовольствие прочесть его самое замечательное произведение. Г-жа Фришауер, так же как и м-ль ф. Визер, очень много рассказывала мне о частной жизни Захер-Мазоха, и благодаря этому я начала понимать в его романах то, что мне казалось непонятным и отвратительным. Г-жа Фришауер объяснила свое столь подробное знание всего, что касалось Захер-Мазоха, тем, что ее сын Бертольд был близким другом писателя, с которым он почти не расставался, так что в городе их называли: Захер-Мазох и его тень. Зная, что Бертольду Фришауеру было тогда не более девятнадцати лет, а Захер-Мазоху за тридцать, я удивлялась такой близкой дружбе двух людей столь различного возраста, но мне объяснили, что Бертольд готовился посвятить себя журналистике, что он преклонялся перед Захер-Мазохом, который, взамен его восхищения, помогал юному журналисту, знакомя его с различными редакциями и с избранной им карьерой.

Действительно, Захер-Мазох благодаря положению своего отца, бывшего начальника полиции, своим литературным связям и родству со многими влиятельными и высокопоставленными людьми представлял для молодого и деятельного журналиста настоящий источник всевозможных сведений. Кроме того, дружба Захер-Мазоха имела еще и другую выгодную сторону для сына и матери: она доставляла им возможность ходить в театр даром, куда они и отправлялись ежедневно.

Г-жа Фришауер очень быстро познакомила меня со всякими литературными и театральными сплетнями, в особенности с относящимися к любовным похождениям Захер-Мазоха. По ее словам, Захер-Мазох очаровывал всех женщин, и все они бегали за ним. У него бывали самые изящные, самые красивые и интересные женщины, но ни одной из них не удалось внушить глубокого чувства. Она находила совершенно непонятным, что незадолго до этого он был помолвлен с актрисой Женни Фрауэнталь, так как «что же представляла из себя эта молоденькая дурочка»? Такого замечательного человека, как он, могла понять только женщина тоже выдающаяся. Правда, Захер-Мазох признавался Бертольду, что ему надоели все эти «инте-

ресные связи» и, по его словам, он стремился к тихой семейной жизни, а для этого годилась именно такая юная и неопытная девушка, как Женни Фрауэнталь.

– Но заметьте себе, – прибавляла г-жа Фришауер, – если этот брак состоится в самом деле, чему я не хочу верить, то не пройдет и года, как мы услышим о разводе. Если есть человек, не созданный для брака, так это Захер-Мазох. Он слишком причудлив для этого.

Я была другого мнения и высказала его г-же Фришауер. Брак этот нравился мне. Мне казалось совершенно естественным, что Захер-Мазох, утомленный всеми своими беспокойными связями, мечтал о счастье домашнего очага, которое надеялся найти в обладании молодой хорошенькой и любимой женщины. Он хотел на деле осуществить свою «счастливую сказку». С другой стороны, м-ль Фрауэнталь было всего только семнадцать лет – возраст, когда все женщины более или менее «молоденькие дурочки», и не было никакой причины думать, что она не могла бы сделать его счастливым.

Это рассмешило г-жу Фришауер.

– Вы не знаете Захер-Мазоха, – возразила она мне. – Для него «счастливая сказка» – это «Венера в мехах». Ему нужна женщина, которая держала бы его в рабстве, на цепи, как собаку, и давала бы ему пинки, когда он ворчит.

Я была уверена, что она ошибается. Я знала Захер-Мазоха раньше нее. Я еще живо помнила рассказы м-ль ф. Визер о нем и о чистоте его отношений к невесте. А также я была убеждена в том, что выдающиеся поди руководствуются в своей жизни только возвышенными целями. Но я не в состоянии была спорить с г-жей Фришауер. Я судила по собственным чувствам, и потому что могла я противопоставить ее доводам, вытекавшим из ее жизненного опыта? К тому же, и сущности, я не настолько уж сильно интересовалась Захер-Мазохом, как она, которая скоро ни о чем больше не говорила и, мне кажется, даже не думала, как о нем. Я с удовольствием слушала ее рассказы, но относилась к ее болтовне ни более, ни менее, как к интересной книге; одним словом, я видела в этом лишь возможность думать о чем-нибудь, кроме себя.

Г-жа Фришауер принесла мне, между прочим, «Разведенную жену» и сообщила, что героиней моей книги была прекрасная г-жа де К. и что и в романе была рассказана подлинная история ее связи с Захер-Мазохом.

Читая книгу, я ясно представила себе благородное, бледное лицо, так глубоко поразившее меня в детстве, но мне трудно было связать его с рассказом писателя об этой несчастной женщине, и образ ее сохранил в моем воображении всю свою чистоту.

Однажды г-жа Фришауер, как бомба, влетела в мою комнату.

– Брак Захер-Мазоха с Фрауэнталь не состоится! – воскликнула она.

И в целом потоке слов, которые переплетались, толкались и перегоняли друг друга, она передала мне все то, что случилось.

В продолжение зимы было поставлено несколько пьес Захер-Мазоха, в которых главные роли исполнялись м-ль Фрауэнталь и молодым актером Роллем. Я знала со слов г-жи Фришауер, что невеста Захер-Мазоха изучала свою роль под его руководством и что он сам ставил свои пьесы. Отсюда завязались дружеские сношения между нареченными и г. Роллем. Всякий вечер их можно было видеть втроем в театре откуда они отправлялись ужинать в отель «Эрцгерцог Иоганн». Казалось, что Захер-Мазох находил особенное удовольствие в обществе артиста.

Г-жа Фришауер, называвшая это «помолвкой троих», со свойственным ей сарказмом предсказала то что и случилось в действительности. По ее мнению, Захер-Мазох смертельно скучал со своей бесцветной невестой и нарочно привлек в их общество актера известного своей красотой, чтобы с его помощью найти предлог порвать с м-ль Фрауэнталь.

Я и раньше часто раздражалась манерой г-жи Фришауер представлять вещи в искаженном виде с целью найти повод к насмешкам. Я возражала ей, что она не знает, как это все произошло на самом деле и каков была причина разрыва, что, с ее точки зрения не происшедшее,

она приписывает Захер-Мазоху очень низкие чувства, так как он как будто сваливает всю вину на молодую девушку, чего порядочный человек не может себе позволить.

– Но ради чего, – воскликнула г-жа Фришауер, – ему жениться на девушке, которую он не любит, которая создана не для него и которая сделала бы его навеки несчастным? Неужели только потому, что случайно имел глупость обручиться с ней?

– Но если они не подходят друг другу, это уже остаточная причина, чтобы вполне прилично расстаться, и не было никакой надобности ставить м-ль Фрауэнталь в ложное положение.

– Боже мой! Вы не понимаете Захер-Мазоха. Нельзя требовать от таких умов, чтобы они всегда шли прямым путем.

– Но бывают обстоятельства, когда честный человек принужден идти только таким путем.

– Нет, вы не правы, тысячу раз не правы! Все это годится для буржуа. Это правило неприложимо к гениям. Повторяю вам, что вы не знаете Захер-Мазоха. Хотите держать со мной пари, что злая и распутная женщина скорей ему понравится?

Меня раздражала уверенность г-жи Фришауер, и потому я согласилась на пари. Но как она докажет, что права? Нет ничего легче, отвечала она: она начнет под вымышленным именем переписку с Захер-Мазохом и даст мне прочесть письма обеих сторон. И она тотчас же уселась в моей комнате и написала Захер-Мазоху такое бесстыдное письмо, что мне и в голову не приходило, что она действительно может послать его или получить на него ответ.

На другой же день она вошла с ответом в руках. Ответ был очень странный. Захер-Мазох писал, что прочел ее письмо с восторгом, но его удовольствие было испорчено уверенностью, что корреспондентка преувеличивала свои недостатки; женщины, по его мнению, одинаково недостаточно сильны как в добре, так и во зле, а слабая женщина не представляет для него идеала. Из боязни нового и тяжелого разочарования он не желает поддаваться очарованию незнакомки.

Его намерение вызвать незнакомку на новый, более решительный шаг было ясно.

Г-жа Фришауер ответила и притом в таком тоне, точно она была самой порочной, самой жестокой и холодной женщиной в мире; ее письмо было столь же гнусно, как и смешно. Оно доставило ей восторженный ответ. Захер-Мазох пал к ногам своей незнакомки, молил заковать ее раба в цепи; ее письмо опьянило его, он ни о чем больше не может думать, как только о ней, и с болезненным нетерпением ждет той минуты, когда она милостиво допустит его поцеловать следы ее ног. В конце письма он прибавлял, что уверен в том, что такая демоническая женщина, конечно, обладает великолепными мехами, которые должны идти ей не обыкновенно; мысль о том, что наступит день, когда ему позволят уткнуть лицо в этот мягкий, душистый мех, опьяняла его сладострастием.

Г-жа Фришауер хохотала до упаду. Она торжествовала, что выиграла пари.

Я ничего не понимала. На одну минуту мне пришла мысль, что она дурачит меня, но нет, это было невозможно; письма Захер-Мазоха носили слишком личный отпечаток, они были слишком искренни, слишком естественны в своем безумии, чтобы можно было усомниться в их подлинности. Но неужели это правда? Неужели такой выдающийся человек, занимающий такое положение, как Захер-Мазох, мог бы так откровенно выдать себя совершенно незнакомой ему особе? Я находила только одно объяснение этому: очевидно Захер-Мазох принимал все это также в шутку.

Обмен писем продолжался некоторое время; затем Захер-Мазох стал так настойчиво просить свою корреспондентку о личном знакомстве, что ей оставалось или прервать переписку, или назначить свидание.

Разрыв не улыбался ей; мне кажется, что она уже пошла в роль, и ей льстило видеть Захер-Мазоха увлеченным ею, хотя бы только в письмах. Это был сезон маскарадов, с помощью чего она и думала вывернуться и из затруднительного положения. Она очень часто не встречалась с Захер-Мазохом, но ей ни разу не приходилось говорить с ним.

Закутанная в домино, скрадывавшее ее необыкновенно полную фигуру – впрочем, она знала, что он любил полных женщин, – и оставлявшее открытыми только глаза, руки и ноги, которые у нее были все еще очень хороши, она должна была понравиться человеку, отепленному страстью.

План был очень ловко задуман, и она с увлечением приготавливалась к его выполнению. Приключение тем более занимало ее, так как Бертольд сообщил ей, что Захер-Мазох рассказал ему о своей переписке с «русской княгиней», остроумнейшей из женщин, которую он когда-либо встречал; он привел ему несколько выдержек из писем, которые восхитили его не менее, чем его друга Захер-Мазоха. Я уже говорила, что г-жа Фришауер была тщеславна. Своими сыновьями она гордилась даже, кажется, больше, чем собой; ей очень польстило, что Бертольд был в состоянии судить так верно об уме своей матери. Но в то время, когда обрадованная успехом своей интриги, она уже предвкушала удовольствие от встречи с Захер-Мазохом на ближайшем балу, роковой случай разбил все ее радужные проекты.

Захер-Мазох дал прочесть своему наперснику Бертольду одно из писем его «русской княгини», и тот узнал почерк матери.

Страшно бурная сцена произошла между матерью и сыном. Г-жа Фришауер отрицала все, до самой очевидности. Но Бертольд не поверил и запретил ей написать хотя бы строчку Захер-Мазоху под угрозой вызвать скандал в семействе.

Для г-жи Фришауер это, само собой разумеется означало конец интриги, но ей хотелось во что бы то ни стало вернуть свои письма. Но как это сделать? Это ее очень расстроило. Только я одна, знавшая всю историю, могла помочь ей. Она просила меня написать Захер-Мазоху, что благодаря чьей-то нескромности она ради семьи поставлена в невозможность продолжать переписку и просит меня, своего друга, передать ему просьбу считать дело поконченным и вернуть ей ее письма в обмен на его. Я составила письмо в этом духе, и г-жа Фришауер отправила его. Она подписывала свои письма «Ванда Дунаева» – именем героини «Венеры в мехах», и Захер-Мазох должен был отвечать на это имя.

На другой день г-жа Фришауер принесла ответ Захер-Мазох согласился вернуть письма, но только лично ее «другу». Новое затруднение.

Г-жа Фришауер попросила тогда меня назначить Захер-Мазоху свидание с целью обменяться письмами.

С тех пор, как я убедилась, что г-жа Фришауер судила о Захер-Мазохе вернее меня, я уже гораздо меньше интересовалась им. К тому же вся эта история не касалась меня. Я старалась дать ей это понять, а также и то, чтобы она не ждала моего личного вмешательства в эту историю. Она стала только еще настойчивей и старалась обильною речью убедить не оставлять ее в этом положении, так как Захер-Мазох отличался искренностью и у нее могли быть серьезные недоразумения с семьей, от которой она зависела, если та узнает, и наконец у нее не было никогда другого, кому она могла довериться; с другой стороны, я не рискую ничем, так как Захер-Мазоху я совсем неизвестна, и никто не узнает об этом свидании.

Все эти доводы не имели для меня никакой убедительности. Зачем, будучи несвободной и ответственной за последствия, она так легкомысленно впуталась в переписку, которая неизбежно должна была иметь какое-нибудь продолжение, а если и нет, то во всяком случае могла скомпрометировать ее? Но я, однако, не могла сказать ей, что если свидание с Захер-Мазохом и не угрожало мне ничем, так как ни «свет» не существовал ни меня, ни я для «света», то такого рода шаг был противен моим взглядам и чувствам и унизил бы меня и собственных глазах, что вся эта история была для меня не только безразличной, но и надоедливой, и что жертва, которой она от меня требовала, не соответствовала нашей взаимной дружбе. Так как я молчала, она подумала, что я согласилась, и стала еще настойчивей. В конце концов она сказала, что ее отец, восьмидесятилетний старик, отличается такой строгой нравственностью, что в случае скандала мог бы умереть от горя.

Все это, а также и желание покончить с этим вопросом, заставило меня исполнить ее просьбу.

То ли нетерпение получить свои письма обратно, то ли недоверие ко мне заставило г-жу Фришауер проводить меня до места свидания и все время его прождать неподалеку.

Я нашла Захер-Мазоха в определенное время в назначенном месте, ожидавшим меня под резким освещением газового рожка. Я тотчас же узнала его, но он мне показался несколько постаревшим и пополневшим с тех пор, как я видела его с невестой. Не успела я подойти к нему, как он протянул мне пачку писем. Он выразил сожаление, что доставил мне беспокойство, но так как одно место в моем письме поразило, но взволновало его, а между тем он не мог больше рассчитывать на письменный ответ, то ему оставалось только поставить условием личное свидание с ним.

Фраза из моего письма, на которую он ссылался, содержала неясный, но очень удачный намек на то далеко не благородное чувство, которое вызвало обмен писем с незнакомкой. То, что эта фраза не прошла незамеченной, доставило мне удовольствие. Объяснение, которого он добивался, я дала ему, сказав правду, не называя, конечно, имен, то есть я рассказала ему о несходстве наших мнений с г-жей Фришауер относительно его повести, в которой он излагал свой личный взгляд на любовь. Я объяснила ему, что моя подруга была того мнения, что любовь, описанная им в рассказе «Венера в мехах», более соответствовала его природе, между тем как я думала, что есть основания предполагать, судя по описанию другой подруги в более ранний период, что свои личные взгляды и мечта на любовь и брак он высказал в «Счастливой сказке».

Казалось, Захер-Мазох был живо заинтересован моими словами и старался разглядеть меня сквозь густую вуаль, покрывавшую мое лицо.

Когда я замолчала, он сначала не сказал ничего, а потом медленно и осторожно, почти с робостью произнес:

– Мне невозможно откровенно и искренно ответить вам, не зная, девушка вы или женщина.

Не задумавшись ни на секунду, я ответила ему, что замужем. Мне пришла в голову мысль, что лучше выдать себя за замужнюю женщину, так как я будто чувствовать себя более свободно с ним.

В необыкновенно чистых выражениях, что мен тотчас же очаровало, и дрожащим от убедительной искренности и глубокого, сдержанного чувства голе сом он сказал мне приблизительно следующее: в его воображении колебались два женских идеальных образа – один добрый, другой злой. Сначала он склонялся в сторону первого, в особенности, пока находится под личным влиянием своей матери, которая представляла в его глазах тип благородной и возвышенной женщины, но очень скоро убедился, что никогда не найдет подобной женщины. Современное воспитание, среда, общественные условия делали женщин лживыми и злыми; лучшая из них была лишь карикатурой того, чем она могла быть, если бы не насиловали ее нормального развития. Их нравственность и доброта были или расчетом или недостатком темперамента; в них-то было ни капли правды; самое грустное – это то, что они сами не сознавали своей лживости и умственного уродства. Ничто не было ему так противно, как искусственность и ложь. Злая женщина, наоборот, была, по крайней мере, искренна в своей грубости, эгоизме и дурных инстинктах. Найти сильную и благородную женщину было его самым горячим желанием; он тщетно искал ее и, утомленный постоянным разочарованием, обратился к другому идеалу. На свете достаточно глубоко испорченных женщин, и он предпочел погибнуть с красивым демоном, чем отупеть так называемой добродетельной женщиной. Жизнь имеет лишь ту ценность, которую мы ей приписываем. Лично он ценил гораздо больше час страстного опьянения, чем целую вечность пустого существования.

Таков был смысл сказанного. Речь его была, конечно, более пространный и глубокая. Это не были отдельные, случайные слова, напротив, и мысли, и выражения были настолько закончены и совершенны, что во мне осталось впечатление прослушанной лекции. Без остановок или заминок, без неуверенности и подыскивания подходящего слова, его речь была сильная, уверенная и ясная, как и его мысль.

Для меня это было ново и захватывающе. Когда он кончил, он повернул ко мне свое бледное, острое лицо, проникнутое, почти искаженное, страстью и ждал мост ответа. Что я могла сказать ему?

Все те вопросы, о которых он говорил, были мне чужды, как вообще была мне чужда вся реальная, внешняя жизнь. Мое нравственное чутье отказывалось верить правдивости его слов, и вместе с тем я чувствовала, что все это сказано искренне. Затем еще одно мне понравилось в нем: я не заметила в его тоне ничего докторального, ничего навязчивого; напротив, он был так скромный, почти робкий, как будто хотел сказать: прости, если твои взгляды не соответствуют моим, и выслушай меня с добротой. Это привлекало, трогало и волновало меня, и отнимало у меня всю мою находчивость.

– Неужели я оскорбил вас? – спросил он, так как я продолжала молчать, и в его тоне слышалась искренняя боязнь.

– Нет, вы не оскорбили меня. Но то, что вы говорили, слишком ново для меня, чтобы я могла тотчас же ответить вам. Я не умею думать так быстро...

Он снова устремил на меня свои темные, глубокие и горящие глаза, черты его лица еще более обострились, а губы дрожали.

Ваше письмо удивительным образом взволновало меня, и я не могу устоять против желания узнать ту, которая писала его... А теперь меня расстраивает мысль, что если мы сейчас расстанемся, то я уж больше не увижу вас... Неужели это так и будет?

– Я думаю, что да.

– Но если я скажу вам, что вы причините мне невыразимое страдание... что я чувствую себя как человек, борющийся с волнами, которые тотчас поглотят его, потому что единственная рука, которая может еще спасти его, не поможет ему... Неужели вы дадите ему погибнуть?

Что это значило? Было ли это объяснение в любви ни дурная шутка? Конечно, ни то, ни другое. Лицо, обращенное ко мне и освещенное резким светом газа, конечно, не принадлежало ни влюбленному, шутнику, это было, как он сам говорил, лицо человека, предвидящего смертельную опасность и с отчаянием ищущего спасения.

К счастью, я вовремя вспомнила и страстный тон его писем к г-же Фришауер, и ее рассказы о его сумасбродствах, что и помешало мне сделать какую-нибудь глупость. Я решительным и спокойным тоном объявила ему, что не может быть и речи о новой встрече между нами. Тогда он просил позволения писать мне, а также предлагал послать мне те из его книг, которые я еще не читала.

От этого я была не в силах отказаться: переписка с Захер-Мазохом, конечно, не могла быть лишеной интереса. А книги! Как я жаждала прочесть их!

Я согласилась, но с условием, что он обещает никогда и никоим образом не разузнавать, кто я; он обещал. Он сказал, что лучше всего мне сохранить имя Ванды Дунаевой для писем и просил завтра же послать на почту.

На этом мы расстались. Прощаясь, я протянула ему руку, которую он поцеловал почти с робостью.

Когда я вернулась к г-же Фришауер, то нашла ее расстроенной моим долгим разговором с Захер-Мазохом, который, впрочем, длился не более четверти часа. Она просила меня передать ей слово в слово все то, что он говорил о ней, и когда я сказала ей, что мы совсем не касались ее, она, по-видимому, оскорбилась. О чем же мы могли разговаривать столько времени?

– Мы говорили о литературе, – сказала я, подавая ей письма, и быстро направилась домой.

Меня больше всего поразило, что Захер-Мазох нисколько не был смущен бедностью моего туалета, так как я знала, что он ценил изящество и роскошь в женщине еще более, чем красоту. Я поняла это уже гораздо позже: он видел в этом маскарад, цель которого – помешать ему узнать меня, если случай столкнет его со мной. «Я тем более был в этом уверен, – говорил он мне впоследствии, – что ничто в твоём существе не соответствовало твоей одежде».

На следующий день моя мать принесла мне с почты письмо и целую связку журналов и книг. Я встретила ее восторженным криком: у меня было чтение на несколько недель! Письмо было довольно короткое. Он еще раз благодарил меня за свидание, советовал обратить внимание на некоторые из присланных рассказов и просил написать ему мое мнение о них.

Я пропустила целую неделю, прежде чем ответила. Затем между нами наступил непрерывный обмен писем и книг.

Мне кажется, что в моих письмах к нему я была откровеннее, чем могла быть девушка моих лет, знающая жизнь; но я не знала жизни, и даже гораздо позже я все-таки плохо научилась понимать людей.

Наступила весна. Г-жа Фришауер, которая уже не так часто посещала нас, рассказала мне, что Захер-Мазох перестал посещать театры и, по словам Бертольда, делал длинные прогулки, прекрасно влиявшие на его здоровье, так как вечером он работал еще с большим усердием. Это вполне соответствовало тому, что Захер-Мазох писал мне о своей тогдашней жизни, а так как он уверял меня в своих письмах, что наша переписка заменяла ему все развлечения, я уже готова была вообразить, что имею на него некоторое влияние.

* * *

За несколько дней до Пасхи я получила от Захер-Мазоха письмо, которое меня очень тронуло. Он писал, что читает мои письма с возрастающим интересом и пришел к убеждению, что во мне таится литературный талант. Если я намерена попробовать, то он с радостью предлагает свои услуги и будет руководить мною на первых порах; он советовал мне сделать описание какого-нибудь случая из виденного или пережитого, коротенькое описание в размере фельетона, и прислать ему; если это окажется удачным, он пристроит его в какой-нибудь журнал.

Я была преисполнена какой-то робкой радостью. Неужели это возможно?

Возможно не умереть в молодости от нищеты и одиночества, обеспечить старость моей матери, не испытывать пустоты жизни?..

Но радость моя была непродолжительна.

Надежда и энергия уступили место сомнению и тысяче различных соображений. Чтобы сделаться писательницей, мне не хватало образования, а также жизненного опыта и знания людей: чтобы я ни написала, мое невежество будет слишком явно. И снова меня охватывал страх жизни, который пугал меня больше, чем мысли о смерти.

Нет, мне ничего больше не оставалось, как сидеть себе смиренно и спокойно ждать конца.

В продолжение целого дня я ломала себе таким образом голову, но, когда наступал вечер, я уже не читала, как прежде, а писала, сидя возле окна.

Через несколько дней я послала свою работу Захер-Мазоху, и он в тот же день дал мне знать, что она была удачна, что он уже отослал ее и что мне следовало, бы приняться за что-нибудь более значительное. Я принялась писать, но еще до окончания моей второй работы я получила от него письмо, содержавшее 10 флоринов, расписку для подписи из одной венской газеты и мой напечатанный фельетон.

Я протянула деньги матери, но она не взяла их; она крепко стиснула свои бедные, исколотые иголкой руки, чтобы я не заметила, как они дрожали, и смотрела на меня смущенно и застенчиво, как будто ей было стыдно.

Я написала новый, более длинный рассказ. Он последовал за первым и принес мне 30 фл. Я перестала шить перчатки и начала небольшой роман, который окончила через три месяца и за который мне заплатили 300 фл. Такой быстрый успех показался бы невероятным, если бы то время не было исключительно благоприятно для писателей; это было в 1872 г., за год до всеобщего краха – время, когда все наживали деньги и когда новые газеты вырастали точно плевелы. К тому же, меня представил Захер-Мазох который был тогда на вершине своей славы: это вполне объясняет то, что иначе казалось бы непонятным.

* * *

Совершенно новая жизнь началась для нас. Мы остались в том же доме, но уже не занимались больше шитьем; мы питались хорошо, одевались прилично и всякий день совершали небольшую прогулку. Как все это поправило нас! Моя мать поздоровела и стала счастливее и веселее, чем когда-либо. Что касается меня, то я чувствовала точно головокружение; счастье пришло слишком внезапно, слишком неожиданно, я едва верила в него, меня угнетал какой-то смутный страх. Раньше я боялась жизни, теперь я не доверяла счастью. Одно только я сознавала и чувствовала ясно – это благодарность к Захер-Мазоху. Меня очень огорчало, что я не могла выразить ему свою благодарность так, как этого хотела. Все то, что я ему писала, казалось мне таким холодным, таким тусклым в сравнении с тем, что я чувствовала! Но каким образом выразить то, что я хотела? Чтобы он понял, что он для меня сделал и насколько мог рассчитывать на мою благодарность, мне следовало объяснить ему мое положение... а этого я не желала.

* * *

Первые письма Захер-Мазоха были кратки и осторожны, со временем они сделались длиннее и задушевнее. Он писал мне изо дня в день все то, что он делал и что с ним случалось. Таким образом, его письма приняли форму дневника, который он давал на мое усмотрение, чтобы я могла следить за его жизнью. Когда я начала заниматься литературой, он высказывал свое мнение и давал советы, как взяться за это, говорил о своих первых шагах на этом поприще.

Позже в его письмах стал проглядывать и другой оттенок. Он писал мне: «С тех пор, как я имею счастье знать Вас, т. е. с тех пор, как Вы милостиво разрешили мне писать Вам и отвечали на мои письма, мои мысли и чувства совершенно изменились. Мне кажется, что я нашел мой потерянный идеал: надежда и вера вернулись ко мне...»

«Все мои планы относительно будущего связаны в моем воображении с Вами».

«Мое сердце и мой ум одинаково полны Вами. Я ничего не знаю о Вас, я не знаю, кто Вы, я не видел Вашего лица, и, однако, от Вас исходит таинственная сила, которой я должен поклониться без сопротивления, как какой-то силе природы».

«Моя жизнь принадлежит Вам, делайте с ней, что хотите».

«Я не нахожу названия тому, что я испытываю к Вам – этому нет названия. Если Вы подумаете об этом, Вы поймете, как мне неловко, когда Вы благодарите меня за те ничтожные услуги, которые я Вам оказал».

«Как должен буду я благодарить Вас когда-нибудь!»

«Не тревожьтесь: я ничего не сделаю помимо Вашего желания и против данного мною обещания».

«Вы – моя судьба так же, как я – Ваша. Если кто-нибудь из нас, Вы или я, захочет ускорить или замедлить ход событий, это будет напрасно. Все придет в свое время, как рождение или смерть».

«Я Вам пишу это потому, что хочу, чтобы Вы знали это, и потому, что иначе это был бы недостаток правдивости с моей стороны».

Я чувствовала себя подавленной, читая эти письма. Что будет? Я не могла отвечать ему в том же духе, а между тем его письма глубоко волновали меня. Я несколько не сомневалась в правдивости его слов, и это-то именно и пугало и радовало меня...

Он часто писал мне, что уже в продолжение многих лет не чувствовал такого настроения и легкости в работе; ему приходилось делать усилия, чтобы оторваться от работы и выйти из дому, и едва только он возвращался, как снова принимался за нее. «И этим, – говорил он, – я обязан исключительно Вам. Мне кажется, что мой талант начал развиваться по-настоящему лишь с тех пор, как я нахожусь под Вашим влиянием, только моя мать действовала таким образом на меня».

Разве могла бы я не чувствовать себя счастливой? Значит, я тоже что-то могла дать ему – ему, который дал мне столько! Мог ли быть другой, более прекрасный и благородный способ уплатить ему мой долг? И, несмотря на это, я все-таки не была спокойна. Судя по его письмам, я поняла, что он считает меня за женщину, принадлежащую к высшему свету. А у него была некоторая слабость к такого рода женщинам. Не изменятся ли его чувства ко мне, если он узнает всю правду? Я боялась ответа на этот вопрос. Но к чему открывать ему истину? Если иллюзия, в которой он пребывает, так благотворно действовала на его талант, к чему отнимать ее у него? Возможно ведь, что интерес, который я ему внушала, происходил от таинственности, окружавшей меня. А если это так, то что нам за дело до истины? Не лучше ли сохранить как можно дольше его счастливое настроение? Жизнь сама позаботится о том, чтобы счастье не было продолжительным.

* * *

Холодная, дождливая осень сменила лето. Я привыкла получать известия от Захер-Мазоха ежедневно, вдруг они внезапно прекратились.

Я страшно беспокоилась от неизвестности, когда наконец прочла в газетах, что Захер-Мазох серьезно заболел воспалением легких. Я тотчас же написала ему, что приду к нему в этот же день, в пять часов, если он этого хочет и не находит неудобным.

Я прошла с письмом до Паулустор, где отдала его комиссионеру, чтобы он отнес его в Янгассе и вернулся с ответом в это же место, где я должна была ожидать его. Комиссионер очень быстро вернулся с ответом, в котором было написано: «Сегодня в пять часов я буду счастливейшим человеком на земле».

До назначенного часа оставалось еще много времени, и я могла на свободе обсудить поступок, на который решилась.

Когда, испуганная внезапным известием о болезни Захер-Мазоха, я написала ему, что приду, мною руководило опасение возможности неблагоприятного исхода болезни и боязнь, что человек, которому я была обязана всем, мог умереть, не услышав слова благодарности лично от меня.

И теперь, несколько успокоившись, я нашла, что поступила хорошо.

Ясно было, что встреча рано или поздно неизбежна. Я взяла с Захер-Мазоха обещание не добиваться свидания со мной, и он исполнил его. Значит, я должна была сделать первый шаг. Если бы это приключение оставалось тем, чем было для меня вначале, т. е. развлечением, я и не подумала бы так поступить.

Но Захер-Мазох имел такое громадное влияние на мою жизнь, он возвысил меня так, как я и не мечтала никогда, и теперь мы были так тесно связаны, что все мои мысли были всегда направлены к нему.

Я знала, что он и его брат Карл жили вместе с отцом и появление женщины в их доме не вызвало бы особенного удивления.

Мое платье было хотя и простенькое, но довольно изящное. У меня было, по правде сказать, всего только одно черное шелковое платье, но хорошо сшитое, к нему я надела коротенькую черную жакетку и черную шляпу. В этом туалете Захер-Мазох мог смело принять меня за светскую даму.

* * *

Когда я поднялась на второй этаж, где находилась квартира Захер-Мазоха, и очутилась на широкой площадке с несколькими дверями, не уверенная, куда я должна постучать, одна из дверей открылась, на пороге ее появился сам Захер-Мазох и пропустил меня вперед.

Я была удивлена, так как думала застать его в постели.

Он провел меня через небольшую темную переднюю, в которой невыносимо пахло кошками, в обширную комнату, заполненную книгами. При неярком свете большой лампы под зеленым абажуром он показался мне очень бледным, но не опасно больным. Он носил платье польского покроя, что придавало ему вид иностранца.

Он казался очень взволнованным и растерянным. И продолжение нескольких секунд между нами царило тягостное молчание, которое я прервала, спросив о его здоровье. Он не сразу ответил мне, но повел к дивану, на который я села, в то время как он стоял передо мной. Наконец он сказал:

– Вы видите, в какое состояние повергает меня наш приход. Я едва в силах поблагодарить вас.

– В таком случае мне лучше уйти, – сказала и с улыбкой.

– О! – воскликнул он.

Став передо мной на колени, он сложил руки точно для молитвы и поднял свой взор на меня.

– Но как вы молоды и как очаровательны! Совсем не такая, как я воображал себе! Да и как я мог, судя по таким серьезным и строгим письмам, ожидать увидеть такое нежное личико молодой девушки? Какая восхитительная неожиданность!

Он держал мои руки и, сняв с них перчатки, изредка целовал их. Я стала расспрашивать его о болезни, и он подробно рассказал мне о ней, из чего я могла заключить, что «воспаление легких» было не более, как сильная простуда.

При виде его серьезного и даже торжественного лица, когда он говорил о своей болезни, я едва, могла удержаться от улыбки.

Я ждала некоторой восторженности с его стороны и твердо решила не поддерживать ее в наших отношениях; я чувствовала, насколько это было опасно для нас обоих, если бы она перешла на реальную почву.

Это, кажется, несколько разочаровало его, он пристально посмотрел на меня, как будто хотел прочесть что-то в моем лице, и сказал:

– Да, вы именно такая, как в ваших письмах. В ваших глазах я вижу все ясные мысли, которые захватили меня и заставили думать, что они принадлежат женщине не первой молодости... достаточно опытной.

Я пробыла у него около двух часов и покинула его с тяжелым чувством в душе и с настоящим хаосом мыслей в голове. Беседуя с ним, я старалась изучить его и отличить правду от «литературы» в его словах, но в данную минуту все смешалось, и я не могла разобраться ни в чем. Он объяснился мне в любви с тем же отсутствием чувства меры, которое так тревожило меня в его письмах, и, думая, что я несчастлива в замужестве, умолял меня сделать все возможное, чтобы добиться развода, после чего мы могли бы обвенчаться. Он не мог предложить

мне богатства, и я несомненно лишусь у него той роскоши, к которой привыкла, говорил он; но если я могу найти некоторое вознаграждение в его необыкновенной любви ко мне и предпочесть семейное счастье светскому блеску, тогда его единственной заботой будет устроить мне новую счастливую и прекрасную жизнь. Он также говорил мне, что полюбил меня раньше, чем узнал, и что любовь, основанная на чисто духовном чувстве, как у него, обеспечивала продолжительное счастье; он хочет всецело отдаться в руки любимой женщины, а в каких руках ему будет лучше, чем в моих? Ему кажется, что дух матери встает над ним и благословляет его слова. Его счастье и его будущность как писателя зависела теперь всецело от меня.

Так говорил он мне, и выражение его лица и устремленных на меня глаз, полных любви и тревоги, подтверждало его слова. Я была глубоко тронута и должна была призвать всю силу воли, чтобы не потерять голову, не открыть ему всей правды и не отдаться ему безрассудно, как я уже заранее решила. Я не исполнила этого, потому что поняла, что он примет мой поступок за благодарность, что и было бы верно, и что таким образом обладание мной не будет так ценно в его глазах, а, следовательно, и его счастье не так полно. Мне приходилось считаться с его причудливым умом: затруднения, которые ему предстояло победить, чтобы овладеть мной, были, несомненно, существенным условием для его счастья. Я не сомневалась и его любви и даже в величии ее, но я не перила в простоту его души.

Меня странным образом смущала робость и униженность в его существе, которое как бы говорило: ничто, ты же – все... Видишь, я у твоих ног, попирай меня, я буду счастлив, лишь бы твоя нога коснулась меня». В этом чувствовалось такое благоговение перед женщиной, что, исходя от такого человека, как он, оно должно было глубоко тронуть всякую женщину. В этом, вероятно, и крылось то, что г-жа Фришауер называла «обаянием» всего его существа.

И как рассудительно говорил он о вещах безрассудных, придавая таким образом простоту и достоверность всему сомнительному и нелепому! Я всецело подчинялась его уму, который изливался на мою истерзанную душу точно прохладный источник в бесплодной пустыне. Он открывал моим глазам новый мир, мир лучезарной красоты, содержание которого составляли искусство и успех, богатство и слава. И он хотел извлечь меня из неизвестности, в которой я до сих пор жила, для того, чтобы впустить меня в этот мир – мир, который впредь будет моим миром!

* * *

С этого дня я стала видаться с Захер-Мазохом два или три раза в неделю, и притом всякий раз у него в квартире, так как он еще боялся выходить. Он рассказывал мне о своей жизни, путешествиях и трудах. Он показывал мне предложения, которые получал, говорил о том, что печатается, что появилось и что будет вскоре напечатано. Он также говорил мне о своем семействе: о своей матери, которую он боготворил, о своих покойных братьях и сестрах, о брате Карле, об их взаимной привязанности, о своем отце. Его родственная любовь как будто не распространялась на старика, который никогда не был ни нежным отцом, ни любящим мужем.

Судя по всему тому, что он мне рассказывал, Захер-Мазох произвел на меня впечатление человека доброго и великодушного, сострадательного к беднякам и несчастным и снисходительного к ошибкам и слабостям людей. Но что было мне невыразимо тяжело, в особенности в первое время, – это его непонятная откровенность, с которой он рассказывал мне о своих прошлых связях. Далекий от мысли о неуместности этого, он предполагал, что я испытываю такое же удовольствие, слушая его воспоминания, как он, переживая их вновь.

«Такого человека, как Захер-Мазох, нельзя мерить обычной меркой», – говорила г-жа Фришауер... Мне припомнились тогда ее слова, и много раз еще впоследствии я вспоминала их.

* * *

Наступила зима и с нею холод, а я все еще ходила в своей коротенькой жакетке и мерзла. Это должно было казаться странным со стороны женщины «изящной и привыкшей к роскоши», за которую меня принимали.

С тех пор, как мы познакомились лично, Захер-Мазох просил у меня позволения снабдить меня мехами. Я знала его страсть к мехам, так как должна была носить их во время моих посещений его дома, в виде домашних кофточек – кацавеек, которые ему так нравились, что я и не противоречила ему. А во время морозов я даже с удовольствием набрасывала на себя одну многочисленных жакеток его коллекции всех мехов. Однажды он неожиданно подарил мне великолепную шубу из черного бархата, отделанную черно-бурой лисой.

Когда я вернулась домой, в нашу небогатую квартиру, в чудной шубе, моя мать онемела от удивления. С некоторых пор, впрочем, она не переставала удивляться.

* * *

Мы виделись почти каждый день. Я сказала Захер-Мазоху, что бросила мужа, потребовала развода и жила теперь с матерью. Он обрадовался и благодарил меня. Он постоянно думал о нашей будущей совместной жизни; все время рассчитывал суммы, которые он сможет зарабатывать, и сравнивал их с теми, которые получил в последние годы.

После всех этих расчетов и соображений он пришел к заключению, что легко может зарабатывать шесть тысяч флоринов в год, и просил сказать ему, хватит ли этого, по моему мнению, на нашу жизнь вдвоем. Как этот вопрос внутренне рассмешил меня!

Он также говорил о том, что тотчас после получения развода мы уедем за границу, чтобы там переждать время до нашего брака. Мы могли бы также ехать прямо в Англию, где, в сущности, нет препятствий ко второму браку.

Я соглашалась со всеми его словами, потому что не верила в этот брак, да и не желала его. Не верила, потому что, несмотря на то, что была вполне убеждена в искренности его любви, я тем не менее не сомневалась в ее непродолжительности. Он уже много раз был помолвлен и, несомненно, любил своих невест так же, как и меня, и все-таки это кончилось ничем.

Несмотря на правдивость и рассудительность, он забывал о своем темпераменте и причудах. Мне даже не приходило в голову воспользоваться его кратковременной страстью, чтобы заставить необдуманно вступить в брак. Я решила отдаться ему, но хотела лишь остаться красивым эпизодом в его жизни. Моя любовь к нему не походила на его любовь ко мне... Я боялась того, о чем он мечтал, и это, вероятно, мешало мне остановиться на мысли о браке.

Я продолжала разыгрывать роль замужней женщины; развод и затруднения для вступления в новый брак будут испытанием, которого он, конечно, не выдержит, но которое даст ему возможность почетного отступления.

Но, тем не менее, положение становилось невыносимым. Долгие часы, которые мы проводили вместе, доставляли ему тайные страдания, меня это, в свою очередь, тяготило, и я решила положить этому конец.

Я предложила ему отпраздновать нашу «свадьбу» 15 ноября, в день его имени.

Это должно считаться нашей настоящей свадьбой, между тем как та, которая свершится позже, когда обстоятельства позволят, будет простой формальностью. Эта мысль привела его в восторг; доверие, которое я ему оказывала, восхищало его. Если бы даже сам папа лично благословил наш союз, он не был бы в его глазах настолько свят, как освященный моим доверием к нему.

* * *

Наша свадьба была очень скромная, но радостная. В назначенный день я застала его во фраке и белом галстуке; на мне было мое обычное черное шелковое платье. Вместо свадебного подарка я получила от него капот на меху, который должна была тотчас же надеть.

Мы обменялись обручальными кольцами, взялись за руки и, глядя друг другу пристально в глаза, дали взаимное обещание всю жизнь быть верными друг другу. Так свершился наш брачный обряд.

* * *

В скором времени после нашего «брака» в «Revue tics deux Mondes» появилась повесть Захер-Мазоха. От радости он почти потерял голову. До этого времени я даже не знала названия этого известного журнала. Леопольд объяснил мне все его значение и сказал, что самое затаенное желание каждого французского писателя быть напечатанным в нем; а то, что во Франции стали следить за его произведениями и переводить их, было для него высшим удовлетворением писательского самолюбия.

Повесть была переведена некоей Терезой Бентзон. Нам показалось странным, что никто из Парижа не сообщил об этом Захер-Мазоху и не просил его разрешения.

Но, в конце концов, это было не так важно; главное – быть напечатанным во Франции, что обеспечивало всемирную известность; кроме того, это, конечно, произведет должное впечатление в Германии, отчего неизбежно поднимутся его репутация и гонорар.

Наступило Рождество. Леопольд устроил для меня елку, под которой я нашла богатые подарки, между прочим, конечно, и меха.

Сколько мрачных лет прошло между этой елкой и последней, которую зажигали для меня! Я была так тронута, так счастлива и вместе с тем так грустна, что едва могла сдержать свои слезы. Сколько доброты выказал мне Леопольд и как он был рад при виде моего удовольствия!

* * *

Я забеременела. Мысль иметь ребенка наполняла меня невыразимой радостью. Раньше, когда я мечтала о любви и браке, все мои стремления и желания сосредоточивались на мысли о ребенке.

Моя связь с Леопольдом несколько изменилась. До сих пор у меня к нему было чисто духовное чувство, а физическое отношение было с моей стороны жертвой, которую я принесла с радостью. От этого, несмотря на наши близкие отношения, он, в сущности, оставался чуждым мне – и это меня тревожило и нарушало мое счастье, потому что мне казалось это несправедливостью и недостатком благодарности с моей стороны.

Теперь было совершенно иначе. Я чувствовала, что мы составляем с ним одно целое, – чувство, которое мы испытываем к самым дорогим и близким людям.

Он сам радовался при мысли быть отцом и умолял меня поселиться вместе, так как, по его словам, у него была потребность видеть меня постоянно возле себя, чтобы иметь возможность постоянно говорить, как он счастлив и как любит меня.

Благодаря непредвиденным обстоятельствам мы были принуждены устроиться вместе раньше, чем он мечтал. Он получил из Вены предложение сотрудничать в газете, которая только что стала издаваться. Ему предлагали очень хорошее вознаграждение, но с условием

переселиться в Вену. Леопольд находил, что он должен согласиться, потому что определенный доход был очень важен для человека, берущего на себя заботу о женщине и ребенке. При этом он сознался мне в старых долгах, которые, в сущности, не беспокоили его, но которые при новом положении вещей он мог легко выплатить.

Однако все зависело от меня: если я соглашусь следовать за ним, он примет предложение, иначе он откажется.

Мне очень улыбалось покинуть Грац. Я была в состоянии поддерживать мою мать, а так как ничто другое не удерживало меня, то я объявила ему мое согласие, и он принял предложенные ему занятия.

* * *

Мы наняли две меблированные комнаты в Кольмесиргассе, за которые платили 150 фл. в месяц. Хозяином квартиры был некий доктор Фрид, который уехал с женой в деревню и сделал выгодное дело, отдав часть своей квартиры в наем во время выставки. Он был даже настолько практичен, что предложил Леопольду подписать вексель на сумму, равную шести-месячной плате за квартиру, и тот имел наивность подписать.

Доктор Фрид доказал свою практичность в делах еще и другим образом: когда мы осматривали и нанимали комнаты, то нашли их прекрасно меблированными, а когда переехали, вся красивая мебель куда-то исчезла и была заменена самой банальной обстановкой. Это грубое мошенничество взорвало Леопольда, но он во избежание неприятностей ничего не сказал хозяевам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.